# Белка

# Туве Марика Янссон

В безветренный день ноября — ближе к восходу солнца — она увидала на лодочном берегу белку. Та неподвижно сидела у самой воды, едва заметная в полусвете, но она знала: эта белка — живая, а она давным-давно ничего живого не видела. Чайки — не в счет, они всегда куда-то летят, они словно ветер над волнами и травой...

Она накинула пальто поверх ночной рубашки и села у окна. Было прохладно, холод тихо застыл в квадратной комнате с ее четырьмя окнами. Белка не шевелилась.

Она попыталась вспомнить все, что знала о белках. Они плавают на дощечках меж островами, гонимые попутным ветром. «Но вот ветер стихает, — чуть жестоко думала она. — Ветер умирает или поворачивает в другую сторону, их гонит в море, и все происходит совершенно не так, как им представлялось. Почему белки плавают? Они любопытные или просто голодные? Храбрые они? Нет. Просто обычная наивность».

Она поднялась и пошла за биноклем, и, как только шевельнулась, холод заполз под пальто. Трудно было направить бинокль прямо, она положила его на подоконник и стала ждать, что будет дальше. Белка по-прежнему сидела на лодочном берегу и ничего не делала, просто сидела.

Она неотрывно разглядывала белку. В кармане пальто она нашла гребень и стала медленно причесываться в ожидании...

Но вот белка поднялась в гору, очень быстро подскакала к домику и резко остановилась. Она напряженно и критически наблюдала за зверюшкой. Белка сидела выпрямившись, свесив лапки, иногда лишь ее тельце вздрагивало, нервно и непроизвольно, напоминая то ли скачок, то ли попытку поползти. Потом белка метнулась за угол.

Она пошла к следующему окну — восточному, а потом к южному. На склоне горы никого не было. Но она знала, что белка там. Она могла окинуть взглядом остров от одного берега до другого. Там не было ни деревьев, ни кустов, она видела все, что появлялось, и все, что исчезало. Не спеша подошла она к очагу развести огонь.

Сначала две дощечки по краям. Над ними крестовина из свежесрубленного дерева для растопки, между ними береста, а затем поленья, что долго горят. Когда дрова загорелись, она начала одеваться, медленно и методично.

Она всегда одевалась, когда солнце всходило, одевалась тепло и предусмотрительно, тщательно застегивая кофточки и брюки из чертовой кожи, охватывающие ее широкую талию, а надев сапожки и спустив наушники для защиты от холода, обычно садилась у очага в состоянии отрешенного блаженства, совсем тихо и бездумно, меж тем как огонь грел ее колени. Точно так же встречала она каждый новый день, она угрюмо и покорно ждала зиму.

Осень у моря была вовсе не той осенью, какой она ее себе представляла. Тут никогда не штормило. Остров спокойно увядал, трава гнила под дождем, гора обнажалась, покрываясь темными водорослями гораздо выше уровня воды, ноябрь шагал все дальше в своем сером одеянии. Ничего не случалось, пока на берегу не появилась белка.

Она подошла к зеркалу над комодом и посмотрела: над верхней губой обозначилась сетка тонких вертикальных морщинок, которых она прежде не замечала. Лицо было неопределенного серо-бурого цвета, примерно такого же, как земля в ноябре, белки тоже становятся серо-бурыми к зиме, но цвета своего не теряют, они лишь добывают себе новый. Поставив кофейник на огонь, она сказала:

— Во всяком случае, они не талантливы.

Эта мысль позабавила ее.

Спешить ей теперь незачем. Пусть белка привыкнет к острову, а прежде всего к ее дому, поймет, что дом этот — не что иное, как неподвижный серый предмет. Но ведь дом, комната с четырьмя окнами вовсе не неподвижны, тот, кто ходит там внутри, вырисовывается, словно резкий и угрожающий силуэт. Интересно, как воспринимает белка движения в комнате? Как можно снаружи представить себе движения в пустой комнате? Единственная возможность не испугать зверюшку — двигаться очень медленно, совершенно беззвучно. Жить абсолютно тихой жизнью казалось ей привлекательным, причем делать это добровольно, а вовсе не потому, что сам остров был тихим.

На столе лежали белые аккуратные стопки бумаги, они всегда лежали так, а рядом с ними — писчие перья. Исписанные листы были перевернуты. Если слова лежат лицом вниз, они могут ночью измениться, их потом словно видишь заново, даже если поспешно, при беглом взгляде, ведь это допустимо.

Быть может, белка останется на ночь. Быть может, она останется на зиму.

Очень медленно подошла она к угловому шкафу и открыла дверцы. Море сегодня было недвижно, все было недвижно. Она молча стояла, держа дверцы шкафа, размышляя, что же ей надо было там взять. И как обычно пошла обратно к очагу, чтобы вспомнить. Ей нужен был сахар. А потом она вспомнила, что это был вовсе не сахар, от сахара она полнела. Эти запоздалые воспоминания удручали ее, она расслабилась, мысли скользили и от сахара привели ее к собакам — она подумала: вот если бы собака высадилась на лодочном берегу! Но она отогнала эту мысль, отрезала ее, ведь эта мысль как бы принижала значение белки.

Она начала мести комнату, тщательно и спокойно, ей нравилось подметать пол. День был мирный, день без диалогов. Нечего было защищать и не на что жаловаться — все слова, которые могли бы стать другими словами или совсем легко могли быть отброшены, а иначе привели бы к большим переменам, — все было оборвано. Остался лишь домик, полный солнечного света, она сама, подметавшая пол, и приятный звук закипавшего на огне кофе. На всей комнате лежал отпечаток само собой разумеющейся обустроенности, все выглядело надежным и ничего общего не имело с местом, где ты либо заперт, либо брошен. Ни о чем не думая, она выпила кофе; она отдыхала.

Беглая мысль промелькнула в ее голове: «Сколько раздумий из-за белки, их миллионы, не больно они интересны. Одну из них угораздило очутиться здесь. Мне надо остерегаться, именно сейчас я все уничтожаю, возможно, я слишком долго была одна». Но эта мысль только промелькнула, да тут же и исчезла. Умное не по годам наблюдение, которое мог бы сделать каждый. Она отодвинула от себя чашку. Три чайки сидели на мысу, повернувшись в одну и ту же сторону. Теперь ей опять стало плохо. Слишком жарко у очага! Ей всегда было плохо после утреннего кофе. Ей нужна была ее маленькая рюмка мадеры, того единственного, что ей помогало.

Так начинается день: затопить очаг, одеться, посидеть перед огнем. Подмести, выпить кофе, утренняя рюмка мадеры, завести часы, почистить зубы, присмотреть за лодкой, измерить уровень воды. Колка дров. Рабочая рюмка мадеры. Потом весь день впереди. Только в сумерках снова следуют ритуалы. Выпить рюмку мадеры в сумерках, внести флаг и помойное ведро, зажечь лампу, поесть. Потом весь вечер впереди. Все дни расписаны, пока не наступает темнота, и затем проверяется уровень воды, направление ветра и температура. Листок со списком всего необходимого, прикрепленный у дверного косяка: новые батареи, чулки, только не колючие, всевозможные овощи, запаянное стекло для лампы, пила, сливочное масло, мадера, прищепки для белья.

Она подошла к шкафу — достать свое утреннее лекарство. Мадера уже давно стояла на холодке, в тени от баньки. Она подумала: холодная бутылка или нет. У бутылки должно быть свое определенное место. Лесенка подпола была крутая, трудная, и ей казалось трусостью хранить бутылки в захоронках вне дома. Бутылок оставалось немного. Шерри[[1]](#footnote-1) — не в счет, оно наводило грусть, да и для желудка нехорошо.

Утренний свет стал ярче, по-прежнему было безветренно. Ей бы надо попасть к автобусу и дальше в город, добыть мадеру. Еще не сейчас, но вскоре, пока не станет слишком холодно. Мотор барахлил, надо бы попытаться что-то с ним сделать, но на этот раз все дело не в свече зажигания. Единственное, что она понимала в машинах, была свеча зажигания. Иногда она выливала бензин из бака и процеживала его через бинт. Она приставила мотор к стене дома и прикрыла его пластиковым мешком, защищающим меховые вещи от моли. Мотор так и стоял сейчас. Можно было, конечно, поплыть и на гребной лодке, но лодка была тяжелая, а путь — слишком длинный. Все вместе было малоприятно, и она откинула эту мысль.

Она бесшумно вскрыла бутылку и держала ее между коленями, пока ладонью отвинчивала пробку. Она кашлянула как раз в тот миг, когда металлическая оболочка пробки с нарезкой треснула, налила мадеру в стакан и вспомнила вдруг, что все это — не нужно. Вообще-то утренняя мадера была единственным, на что она имела право, так как не совсем хорошо себя чувствовала. Она внесла стакан в дом и поставила его на стол, вино казалось темно-красным на фоне света, проникавшего в окно. Когда стакан опустел, она спрятала его за банкой с чаем.

Подойдя к окну, она посмотрела, не видать ли белки. Очень медленно переходила она от окна к окну, ожидая, что та появится. Она разогрелась от вина, огонь горел в очаге, она повернулась и совершенно спокойно шла против солнца вместо того, чтобы идти вместе с ним. Стояло все такое же безветрие, море сливалось с небом в серое ничто, но гора казалась черной от ночного дождя.

И вот появилась белка. Появилась как награда за то, что она была спокойна и смогла отстраниться от всего. Маленькое животное прыгало по склону горы, описывая мягкие кривые поперек острова и спускаясь вниз к воде. Теперь она снова сидела на лодочном берегу. «Белка покинет остров, — подумала она. — Здесь негде поселиться, нечего есть, никаких других белок нет, налетят штормы, а потом будет слишком поздно». С трудом встав на колени, она вытащила ящик с хлебом из-под кровати. Животное знает, когда наступает время исчезнуть. Точь-в-точь, как корабельные крысы, плывущие по воде или в лодке, но прочь от того, что осуждено на гибель.

Она перебралась через вершину горы, двигаясь как можно осторожней, отламывала мелкие кусочки черствого хлеба и клала их в расселины. Теперь белка увидела ее. Она добежала аж до кромки воды и уселась совершенно неподвижно, заметная лишь как пятнышко, как силуэт, но поза ее выражала чуткость, бдительность и недоверие. «Ну, теперь белка исчезнет, теперь она испугается!»

Как можно быстрее разломила она хлеб, скорее, скорее. Затем разбросала кусочки по земле, помчалась в дом, вползла туда буквально на четвереньках и кинулась к окну. Лодочный берег был пуст.

Она ждала целый час, переходя от окна к окну. Легкий ветерок рисовал темные полоски на водной глади, и трудно было разглядеть, шевелится ли там что-нибудь — расплывчатый предмет, плывущее ли животное. Одни только птицы покоились, словно белые пятна, на воде, взлетали ввысь и скользили над мысом. Туман сгустился, и она вообще ничего не видела. Глаза устали и начали слезиться. Она была ужасно расстроена из-за белки и из-за самой себя, она сделалась смешной.

Настало время выпить рабочую рюмку мадеры, почистить зубы, наготовить дров, а также измерить уровень воды — сделать все необходимое. Не надо страшиться педантичности. Она достала стакан, быстро и небрежно наполнила его, а когда он опустел, поставила на стол и молча прислушалась. Тишина изменилась, дул легкий ветер, устойчивый восточный ветер. Утренний свет в комнате исчез, исчезло раннее утреннее освещение, преисполненное ожидания и неиспользованных возможностей, теперь был обычный серый дневной свет, новый, уже использованный день, такой же грязный от дурных мыслей и внеплановых дел. Все, что имело отношение к белке, казалось безрадостным и неприятным, и она отрешилась от этих дум.

Стоя посреди комнаты, она ощущала тепло от рабочей рюмки мадеры и знала: это лишь ненадолго, все это пройдет, пройдет быстро, время должно быть использовано или дано вновь. Все кастрюли выстроены в ряд над очагом, все книги рядом друг с другом на своих полках, а на стене ее навигационный прибор, все эти чужие декоративные предметы, которые, возможно, нужны, чтобы жить в зимнем море. Там никогда не штормит. Можно кому-нибудь написать: «Мы стоим на восьмибалльном ветру. Я работаю. Яркий желто-красный поплавок бьется о стену снаружи, а оконные стекла покрыты пенной накипью. Нет! Они слепые от соленой морской воды. Волнуются... ослепленные. Пена прибоя переливается через край... Милый господин К., мы стоим на восьмибалльном ветру!»

Никакого шторма нет, только дует ветер, злой и упрямый, или же блестящая морская гладь, которая лижет и лижет берега. Если ветер усилится, мне необходимо взглянуть на лодку; после того как взглянешь на лодку, выпиваешь рюмку мадеры, которая не в счет.

Но вот снова появилась белка. Легкий шорох, кто-то царапает стены домика. Лапки, скребущие оконное стекло... И она видит внимательную мордочку зверюшки с мелкими нервными подергиваниями носика, глазки, словно стеклянные шарики. Всего один миг, совсем близко, и вот уже в окошке снова пусто!

Она расхохоталась:

— Вот как, ты осталась, дьяволенок ты этакий...

Теперь ей нужен был ветер, какой угодно ветер, только бы он дул с материка и крупных островов! Она постучала по барометру и попыталась увидеть, не упала ли стрелка вниз. Она не обнаружила свои очки в привычных местах, их никогда не найти, но барометр, верно, так же непостоянен, как обычно, а ей нужна перемена погоды, сводка о перемене погоды... И тут она вспомнила: батарейки для радио почти сели. Но это ничего, в самом деле, абсолютно ничего, ведь белка осталась. Она подошла к списку у дверного косяка и написала: «Беличья еда». Что едят белки? Овсянку, макароны, бобы? Она могла бы сварить овсяную кашу. Они бы приспособились друг к другу. Но белке не надо становиться ручной. Она никогда не должна и пытаться заставить ее есть из рук, забираться в комнату, являться на ее зов. Белка не должна становиться домашним животным, ее совестью, ее ответственностью, она должна остаться дикой. Каждая из них должна жить своей жизнью и только разглядывать друг друга, узнавая одна другую, быть терпимыми, уважать друг друга и вообще продолжать жить по-своему в полной свободе и независимости.

Ее больше совершенно не интересовала та собака. Собаки — опасны, они привязываются, они мгновенно откликаются на все происходящее, они сострадательные животные.

Белка — лучше.

Они готовились перезимовать на острове, они привыкли друг к другу, и у них появились одинаковые привычки. После утреннего кофе она раскладывала на склоне горы хлеб и, сидя у окна, смотрела, как белка ест. Она догадалась, что животное не может видеть ее сквозь стекло и что белка, должно быть, не очень интеллигентна, но сама она двигалась по-прежнему медленно и привыкла тихонько сидеть у окна, очень долго, часами, разглядывая, как прыгает белка, и ни о чем особо не думая. Иногда она беседовала с белкой, но так, чтобы та не могла слышать ее. Она писала о ней, о своих ожиданиях и наблюдениях и проводила параллели между ними обеими. Иногда она писала оскорбительные вещи о белке, бессовестно обвиняя ее, в чем позднее раскаивалась и вычеркивала написанное.

Погода была переменчива, и все время становилось холоднее. Каждый день, вскоре после измерения уровня воды, она поднималась в гору к большой куче хвороста и свежесрубленных деревьев, чтобы наколоть дров. Она выбирала несколько досок и сучьев и рубила их довольно искусно. Тогда она была сильна и уверенна, словно сидела перед очагом во время восхода солнца полностью одетая, неподвижная, будто монумент, и бездушная.

Наколов дрова, она несла их вниз в комнату и раскладывала под очагом, тщательно обдумывая, куда положить каждое полено, каждый чурбан и каждую дощечку — плотно и красиво — треугольниками, четырехугольниками, узкими и широкими прямоугольниками и полукругами. То была загадка, головоломка, законченная интарсия[[2]](#footnote-2). Она сама заготавливала дрова на зиму.

Ветер постоянно менялся. С помощью канатов приходилось пришвартовывать лодки. Она не спала ночами и лежала, прислушиваясь и беспокоясь за лодку, ей казалось, что та ударяется о подножье горы. В конце концов она вытянула ее на берег. Но все-таки просыпалась, лежала и думала о паводке и шторме. Лодку надо было подтащить повыше, на вагонетке. Однажды утром она подошла к куче хвороста и извлекла оттуда срубленное дерево, гладкое тонкое деревце, предназначенное для рангоутов и решетчатых настилов. Одна из палок вдруг обломилась и... быстрое движение живого существа, что-то выскочило оттуда и молниеносным движением исчезло в страхе.

Она бросила деревце и отступила назад. Конечно, белка жила здесь! Она соорудила себе гнездо, а теперь это гнездо уничтожено.

— Но я ведь не знала, — защищала она себя. — Откуда мне было знать!

Оставив деревце на земле, она побежала домой за тонкой древесной стружкой и отбросила дверцу подпола. Только внизу, в темноте, вспомнила она про карманный фонарик, она всегда забывала про него! Жестянки, картонки, ящики... была ли у нее когда-нибудь древесная стружка, возможно, то была стекловата, а она нехороша для белки, там стеклянные волокна, если теперь, конечно, стекловату изготовляют из стекла... Она шарила в темноте по полкам, снова ощущая ту прежнюю неуверенность, которая проявляется всегда и по-разному — ты постоянно то забываешь, то знаешь, о чем идет речь, то представляешь себе все это... Ящики, ящики — ряды ящиков, и ты нипочем не знаешь, какие из них пустые... А теперь необходимо собраться с мыслями. Этот ящик с ветошью, этот для мотора... картонка под лесенкой! Она нашла картонку и начала разрывать ветошь на длинные неподдающиеся клочья. Сопротивление ветоши и темнота превращались у нее в голове в картину ночных снов, снов о том, что она торопится и что уже почти поздно, она рвала враждебный материал и думала: «Я не успеваю». Сейчас речь шла не о белке, а обо всем, обо всем, что могло быть уже поздно. В конце концов она взяла с собой всю коробку в охапку и попыталась поднять ее наверх по лестнице подпола. Коробка была слишком велика и застряла в отдушине подпола. Она выталкивала ее плечами и затылком, коробка лопнула — и ветошь вывалилась на пол. Речь шла о секундах. Она мчалась по склону горы, спотыкалась и бежала, она ползала вокруг штабелей дров и втыкала ветошь повсюду меж поленьями: ветошь легко было найти, и она не могла промокнуть.

— Вот тебе! Строй себе гнездо!

Теперь все было ясно! Ничего больше не поделаешь! Ее большое тело никогда еще не было таким тяжелым, она медленно продвигалась в защищенную от ветра расселину у склона горы, вытянула наконец ноги, чтобы заснуть, и совершенно забыла про белку. Она чувствовала себя уверенно и была полна чувства собственного достоинства, совершенно не заботясь о своих кофточках, сапожках и дождевике, глубоко погрузившись в теплое пространство влажного мха и чистой совести.

После двенадцати начал накрапывать дождь. Она проснулась от глубокого ощущения, окончательно сформировавшегося, пока она спала. Сон был о дровах на зиму, о тех дровах, которые необходимы каждый день всю зиму. Повторное муравьиное странствие по склону горы, необходимость пилить и колоть все ниже и ниже по склону — этот упрямый и неумолимый враг, а он все только приближается и обнаруживает новые бездны холода и света вокруг охваченной ужасом окаянной белки, лежащей в своем гнезде из ветоши.

Им необходимо поделить дрова на зиму, это было абсолютно ясно. Один штабель дров для белки, а один — для нее, и это необходимо сделать сейчас же. Тело ее одеревенело после сна, но она была абсолютно спокойна, потому что предстояло сделать еще одно-единственное дело. Она подошла прямо к куче из хвороста и свежесрубленных деревьев, тяжелой, как дом. Она сбрасывала вниз бревна, бралась за конец бревна и, спотыкаясь, брела вниз по склону к домику. Склон был скользкий, мох скользил под подковками ее сапожек, но она все-таки продолжала спускаться вниз и прислоняла бревно к стене дома, затем поворачивалась и вновь поднималась в гору. Бревна надо было носить, а не скатывать вниз. Бревно, которое катится, — освобожденная неуемная сила, сокрушающая все на своем пути. Бревно надо нести к тому самому месту, где оно необходимо. Тот, кто несет его, должен сам быть как бревно, тяжелым и нескладным, но преисполненным скорости, силы и мощи. Все должно встать на свои места, и нужно попытаться понять, для чего можно использовать эту мощь. Я несу бревно, я держу его все крепче и крепче. Я дышу по-новому, у меня соленый пот...

Сумерки надвигались, а дождь все шел и шел. Странствие вверх и вниз по склону горы казалось размеренным нереальным миражом, и пока она странствовала снова и снова вверх-вниз, у нее закружилась голова от необходимости поднимать и носить бревна и балансировать, сбрасывать вниз свежесрубленные деревья, а затем снова подниматься вверх. У нее прибавилось сил, она стала уверенной в себе, а все мысли были сглажены, обезличены и оборваны на полуслове. Крепежный лес, доски, планки, бревна... Она сорвала с себя кофточки одну за другой и оставила их мокнуть под дождем.

«Я делаю нечто, воплощающее мои мысли. Я перетаскиваю то, что лежать в этом месте не должно, и оно попадает в нужное место. Мои ноги в сапожках напряжены. Я могу носить камни. Переворачивать и катить с помощью лома и подъемных сооружений огромные камни и выстроить вокруг себя стену, где каждый камень будет лежать на своем месте! Но, возможно, возводить стену вокруг острова не стоит...»

В темноте она почувствовала усталость. Ноги начали дрожать, она оставила бревна и стала носить доски. В конце концов она выстроила у стены дома лишь ряды мелких поленьев. И такие же мелкие, боязливые мысли нахлынули на нее. Она представила себе, что белка жила вовсе не под этим штабелем дров, а в недрах другого штабеля, где не было сыро. Вдруг она ошиблась! Всякий раз, поднимая дощечку, она думала, что именно эта дощечка могла стать крышей над головой белки. Каждая деревяшка могла сбить ее с ног и уничтожить. Тот, кто осмелился бы дотронуться до штабеля с дровами, должен был бы точно рассчитать, как лежали бревна, как они сочетались друг с другом, продумать это спокойно и умно, без преувеличений, осознавая, был ли правильным сознательный энергичный бросок, или же это просто осторожное, терпеливое ковыряние.

Она прислушивалась к шепчущей тишине над островом, к дождю и к ночи. «Это невозможно, — думала она. — Никогда больше я туда не пойду».

Она вернулась в дом, разделась и легла. Она не зажигала вечером лампу, это было нарушением ритуала, но это демонстрировало белке, как мало ей дела до того, что творится на острове.

Утром следующего дня белка не прискакала покормиться. Она ждала долго, но та не появилась. Причины быть обиженной или недоверчивой у белки не было. Все, что делала хозяйка острова, было просто, однозначно и справедливо, она разделила штабеля дров, а сама отступила. Но принадлежавший белке штабель дров был во много раз больше ее штабеля. Будь у зверюшки хоть малейшее доверие к ней, воспринимай белка ее просто как дружественно настроенное живое существо, та должна была бы понять, что она только и пыталась ей помочь.

Она села за стол. Она очинила карандаш и положила перед собой бумагу параллельно краю стола, это всегда помогало ей лучше понимать белку.

Стало быть, если теперь белка, несмотря ни на что, воспринимает ее как какой-то предмет, нечто незначительное и равнодушное, она может так же мало считаться с ней, словно с равным себе врагом.

Она попыталась сконцентрироваться, попыталась серьезно уяснить для себя, как воспринимает ее белка и каким образом испуг у дровяного штабеля изменил отношение белки к ней. Ведь не исключена и такая возможность: белка станет ей преданным другом! Но в решающий момент ее охватило недоверие. А вдруг, наоборот, белка полагала, что она ничтожество, с которым нечего считаться, что она часть, всего лишь часть острова, часть всего, что увядало! И с бурным наступлением осени навстречу зиме она, как уже говорилось, столь же мало могла воспринимать эпизод у штабеля дров как агрессивный поступок...

Она устала и начала рисовать четырехугольники и треугольники на бумаге. Она рисовала длинные, извилистые линии между треугольниками и четырехугольниками и очень мелкие листочки, которые вырастали со всех сторон.

Дождь кончился. Море, блестящее и какое-то одутловатое, вздулось и, как всегда, вечно сетовало о том, что оно, море, красиво. А потом она увидела лодку.

Лодка была далеко-далеко, но она плыла, она двигалась, она была длинная, черная, непривычной формы — ни чайка, ни камень, ни навигационный знак.

Лодка правила прямо к острову, да тут и не было ничего, куда можно было бы причалить, кроме этого острова; лодки, плывущие в боковом направлении, безопасны, они плывут по фарватеру, но эта шла напрямик, черная, как мушиное дерьмо.

Она рванула к себе свои бумаги, некоторые порхнули вниз на пол, она пыталась запихнуть их в ящик, но они загнулись и не влезали туда, вообще она поступила неправильно, совершенно неправильно, бумагам следовало бы лежать на виду — неприступным и защищающим, она вытащила их снова и разгладила. Кто же это, кто плыл сюда, кто рискнул плыть сюда, это были они, другие[[3]](#footnote-3), теперь они нашли ее. Она бегала по комнате, передвигая стулья, разные предметы, потом снова двигала их назад, потому что комната все равно оставалась неизменной. Черное пятно приблизилось еще. Обеими руками схватилась она за край стола и спокойно стояла, прислушиваясь к шуму мотора. Делать нечего, они плыли. Они направлялись прямо к ней.

Когда звук мотора был уже совсем близко, она открыла окно с задней стороны домика, выскочила оттуда и побежала. Вытащить в море лодку было уже слишком поздно. Она приседала и, еле волоча ноги, бежала вперед к отдаленнейшему берегу острова, к горной расселине у самой воды. Здесь не был больше слышен шум мотора, а лишь медленные удары морских волн о подножье горы... А что, если они уже высадились на берег?! Они увидят лодку. Домик — пуст. Они удивятся, поднимутся на берег и увидят меня. Скрючившуюся здесь. Нет! Это не годится! Это не годится! Я должна вернуться.

Она начала ползти медленнее, в гору, к вершине. Мотор был выключен, они высадились на берег. Она растянулась в мокрой траве, проползла несколько метров вперед и приподнялась на локтях, чтобы лучше видеть.

Лодка бросила якорь возле отмели перед островом, а люди рыбачили. Трое четырехугольных стариков удили на крючок и пили кофе из термоса. Возможно, они чуточку болтали. Иногда они притягивали удочки к себе, возможно, им попадалась рыба. Затылок ее устал, и она, не сопротивляясь, опустила голову на руки. Ее не интересовали больше ни белки, ни те, кто удил на крючок, абсолютно никто, она лишь соскользнула вниз в состояние огромного опустошения, признаваясь самой себе, что разочарована. «Как же так, — откровенно думала она. — Как я могу выйти из себя из-за того, что они приплыли, а потом испытать такое ужасное разочарование, когда они не высадились на берег?!»

Назавтра она решила вообще не вставать, решение это было мрачным и самонадеянным. Она решила: «Никогда больше не встану». О том, что будет дальше, она не задумывалась.

День выдался дождливый, шел ровный спокойный дождик, который мог продолжаться сколько угодно. «Это хорошо, я люблю дождь. Завесы и драпировки и новые бесконечности дождя, который все продолжается и продолжается, и крадется неслышным шагом, и шуршит, и снова крадется по крыше. Дождь, как и невостребованный солнечный свет, который часами движется по комнате, по подоконнику, ковру, и отмечает полдень в кресле-качалке, и исчезает на очаге, словно обвинение. Сегодня все это благородно и серо по-обычному, анонимный день без времени, он не в счет...»

Она вылежала теплую ямку для своего тяжелого тела и натянула одеяло на голову. Через небольшую отдушину для воздуха она видела две нежные розы на обоях. Ничто не могло ей помешать. Она снова медленно погрузилась в сон. Она научилась спать все больше и больше, она любила сон.

Дождливая погода сменилась сумеречной к вечеру, когда она проснулась и захотела есть. В комнате было очень холодно, она завернулась в одеяло и спустилась в подпол за консервами. Она забыла карманный фонарик и наугад взяла банку в темноте. И остановилась, прислушиваясь, неподвижная, с банкой в руке. Белка была где-то в подполе. Послышался негромкий звук, словно кто-то скребся, а потом — тишина. Но она знала, что та — здесь. Она, должно быть, будет всю зиму жить в ее подполе, а беличье гнездо может устроить где угодно. Отдушина должна быть открыта, но так, чтобы туда не забился снова снег, а все консервные банки, всё, что ей нужно, надо перенести в комнату. И все же она никогда не сможет быть уверена до конца, живет белка в подполе или в штабеле дров.

Она поднялась наверх и закрыла за собой творило. Она захватила мясо в укропном соусе, а такое мясо она не любила. Поясок голубого неба обнажился у горизонта — узкая пылающая лента солнечного заката. Острова, словно угольно-черные полоски и комья, простирались в горящем море, оно горело, отражая небо до самого берега, где мертвая зыбь, вздымаясь, все снова и снова проплывала в виде одной и той же кривой вокруг мысов над покрытым слизью ноябрьским склоном горы. Она медленно ела, глядя, как алая лента заката углублялась на небе и над водой; то был безумный немыслимо алый цвет, и вдруг он угас, и все сразу же стало фиолетовым и, тихо перейдя в серый цвет, потонуло в ранней ночи.

Ей совсем не хотелось спать. Она оделась, зажгла лампу и все стеариновые свечи, которые только смогла найти, она зажгла также очаг и положила горящий карманный фонарик на подоконник. В конце концов она повесила бумажный фонарик снаружи перед дверью, он ярко и неподвижно светил в спокойной ночи. Она достала последнюю бутылку мадеры и поставила на стол рядом со стаканом. Вышла на склон горы, оставив дверь открытой. Сияющий огнями дом был красив и таинственен, словно освещенный иллюминатор в чужой лодке. Она пошла дальше на мыс и принялась обходить остров, очень медленно, почти по кромке воды, повернувшись лицом к широко разверстой темной пасти моря. Только обойдя кругом весь остров и вернувшись обратно к мысу, она обернулась, чтобы оглядеть свой сияющий светом дом... Пора было войти прямо в его тепло, закрыть за собой дверь и почувствовать себя дома.

Когда она вошла в дом, белка сидела на столе. Зверюшка метнулась в сторону, бутылка упала на пол и разбилась, она принялась собирать осколки, а ковер быстро потемнел от вина.

Подняв голову, она взглянула на белку. Та сидела, крепко вцепившись в стенку среди книг, словно геральдический знак, расставив лапки и не шевелясь.

Она поднялась и сделала шаг по направлению к белке, еще один шаг — та не шевелилась. Она протянула руку к зверюшке, еще ближе, очень медленно, и белка укусила ее с быстротой, подобной молнии. Ощущение было, что ее режут ножницами. Она вскрикнула и продолжала кричать в пустой комнате от злости, она споткнулась об осколки и осталась стоять, перемежая вопли с криком. Никогда еще никто не злоупотреблял ее доверием, на нарушал взаимную договоренность, как это сделала белка. Она не знала, протянула ли она руку к зверюшке, чтобы погладить ее или задушить, это было все равно, руку она протянула. Она подмела осколки, погасила свечи и подложила больше дров в очаг. А потом сожгла все, что написала о белке.

В дальнейшем ничто в ее ритуалах не изменилось. Она оставляла корм на склоне горы, и белка, прискакав туда, кормилась. Она не знала, где белка жила, и не заботилась о том, чтобы это узнать, она больше не спускалась в подпол и не ходила к штабелю дров на склоне горы. Это выказывало ее презрение, равнодушие, не опускавшееся до мщения. Но по острову она двигалась иначе, энергично, она могла выскочить из дома и захлопнуть за собой дверь, она тяжело и шумно ступала, а под конец пускалась бежать. Она подолгу стояла молча и совершенно неподвижно, а потом снова бежала в гору; она мчалась через вершину, пыхтя и задыхаясь, а затем по всему острову туда и обратно, всплескивала руками и кричала. Ей было нисколько не интересно, видела ее белка или нет.

Однажды утром пошел снег; тонкий покров снега, который не таял, покрыл остров. Наступил холод, ей пришлось поехать в город, купить кое-какие вещи, запустить в ход мотор. Она шла, глядя на мотор, на минутку приподняла его и снова поставила на место, прислонив к стене дома. Может, через несколько дней... когда подует ветер. Вместо этого она начала искать следы беличьих лапок в снегу. Вокруг погреба и штабеля дров земля была нетронута и бела, она обходила берега, она шла целеустремленно по всему острову, но единственные следы, которые там виднелись, были ее собственные, отчетливые и черные, — они прямоугольниками, треугольниками и длинными дугами пересекали остров.

Позднее днем она стала вдруг подозрительной и принялась искать под мебелью в доме, она открывала шкаф и ящики, а в конце концов влезла на крышу и заглянула в дымовую трубу.

— Черт побери, ты делаешь меня смешной, — сказала она, обращаясь к белке.

Затем она отправилась на мыс и начала считать обломки досок, беличьи кораблики, которые пускала с попутным ветром к материку, чтобы показать белке, как мало ей дела до зверюшки. Все они были на месте, их было шесть. На мгновение она почувствовала неуверенность, сколько их было — шесть или, возможно, семь. Ей следовало записать эту цифру. Она пошла обратно в комнату, вытряхнула ковер и подмела пол. Теперь все пошло кувырком. Иногда она чистила зубы вечером, не заботясь о том, чтобы зажечь лампу. Причина беспорядка зависела от того, что у нее больше не было мадеры, которая разделяла ее день на определенные периоды, облегчая их и делая более четкими.

Она вымыла все окна и привела в порядок книжные полки, на этот раз не по писателям, а в алфавитном порядке. Когда все было сделано, она стала подумывать о более совершенной системе и начала расставлять книги по собственному вкусу. Те, что ей больше всех нравились — на самую верхнюю полку, а худшие — в самом низу. Она с удивлением обнаружила, что нет ни единой книги, которая бы ей нравилась. Тогда она оставила их на том же самом месте, где они стояли, и села у окна — дождаться, когда выпадет больше снега. На юге виднелось скопление темных облаков, они могли принести с собой снег.

Вечером у нее появилась внезапная жажда общения, и она поднялась в гору с «walkie-talkie»[[4]](#footnote-4). Она развернула антенну, подключила питание и прислушалась к отдаленному скрипу и шуму. Несколько раз она слышала беседу между двумя лодками, это могло произойти снова. Ночь была угольно-черная и очень тихая, она закрыла глаза и терпеливо ждала. Но вот она что-то услыхала, что-то доносившееся издалека, даже не слова, а два голоса, говорившие друг с другом. Голоса звучали медленно и спокойно, они все приближались, но она не могла разобрать, о чем они говорили.

Но вот она поняла, что беседа закончена, интонация изменилась, а реплики стали короче. Они попрощались, было уже слишком поздно — и она закричала:

— Алло! Это — я! Вы слышите, что я говорю! — хотя она знала, что им ее не услышать.

Кроме того, в аппарате слышался лишь отдаленный шелест, и она выключила рацию.

— Глупо! — сказала она самой себе.

Ей пришло в голову, что, возможно, батарейки не подходят для радио, и она спустилась вниз — проверить. Да, они были слишком малы.

Ей необходимо ехать в город. Мадера, батарейки... Под словом «батарейки» она написала «орехи», но потом перечеркнула это слово. Кораблики уплыли, обломков досок было, во всяком случае, семь, а не шесть, все на одном и том же точном расстоянии от воды — шестьдесят пять сантиметров. Она прочитала свой список, и внезапно он превратился уже в перечень на иностранном языке, не имеющем с ней ничего общего, — прищепки, разная домашняя утварь, сухое молоко, батарейки. Единственное, что было важно, это обломки досок — сколько бы их ни было — шесть или семь. Она взяла метр и карманный фонарик и снова спустилась вниз к берегу. Берег был пуст и совершенно чист. Там больше не находилось никаких обломков досок, ни одного-единственного, вода в море поднялась и унесла их с собой.

Она сильно удивилась. Она по-прежнему стояла на самом краю берега и направляла свет карманного фонарика в море. Свет разорвал поверхность воды и осветил серо-зеленый подводный грот; чем ниже, тем мрачнее он становился и был полон очень маленьких, неопределенных частиц, на которые она никогда не обращала внимания. Она как можно дальше освещала воду в темноте. И там ее внимание привлек слабый конус света, окрашенный в яркий желтый цвет; то был покрытый олифой кораблик, который гнал ветер с суши.

Она не сразу поняла, что это был ее собственный кораблик, она только смотрела на него, отмечая впервые беззащитные, полные драматизма движения дрейфующего кораблика, пустого кораблика. А потом она увидела, что кораблик вовсе не пуст. На корме сидела белка и слепо таращилась прямо на свет, она походила на кусок картона, на неживую игрушку.

Полудвижением она попыталась снять с себя сапожки, но остановилась. Карманный фонарик лежал на склоне горы и косо светил вниз, в воду: вал из набухших водорослей, которые колыхали поднимающиеся волны моря, затем темнота, где склон горы изгибался вниз. Это было слишком далеко, да и слишком холодно. К тому же — слишком поздно. Она сделала неосторожный шаг, и карманный фонарик соскользнул вниз в воду, он не погас, он все еще горел, опускаясь вдоль горного склона, — крошечный, становящийся все меньше и меньше исчезающий луч света, освещавший беглые картинки бурого, схожего с призраком ландшафта с подвижными тенями, а далее шла сплошная тьма.

— Ах ты, дьявольская белка, — медленно и с восхищением воскликнула она.

Она по-прежнему стояла в темноте в состоянии колоссального удивления, ощущая легкую слабость в ногах и смутно сознавая, что отныне все решительно изменилось.

Мало-помалу она снова выбралась на остров и прошла весь обратный путь, это отняло много времени. Только закрыв за собой дверь, она испытала чувство облегчения, великого и возбуждающего облегчения. Все принятые решения были отняты у нее. Ей не нужно было ни ненавидеть белку, ни беспокоиться о ней. Ей не нужно было что-то писать о белке, не нужно вообще ни о чем писать, все было решено и кончено с ясной и безусловной простотой.

За окном снова начал падать снег. Он падал густо и спокойно, настала зима. Она подложила еще дров в очаг и подкрутила фитиль в керосиновой лампе. Села за кухонный стол и начала писать, очень быстро: «В безветренный день в ноябре, ближе к восходу солнца, она увидела человека на лодочном берегу...»

1. Херес, крепкое испанское вино (англ.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Деревянная инкрустация. [↑](#footnote-ref-2)
3. Тема «других» затронута в новелле Янссон «Покупка», в которой двое любящих молодых людей скрываются от «других», по‑видимому от мародеров, которые уже ограбили их, превратив одного из них в инвалида. В конце концов, устав скрываться от «других», молодые люди идут им навстречу, надеясь найти взаимопонимание.

   Как всегда, Янссон не раскрывает до конца содержание происходящего, предоставляя читателю возможность обо всем догадаться самому. [↑](#footnote-ref-3)
4. Обыденное название переносной рации в Финляндии. [↑](#footnote-ref-4)